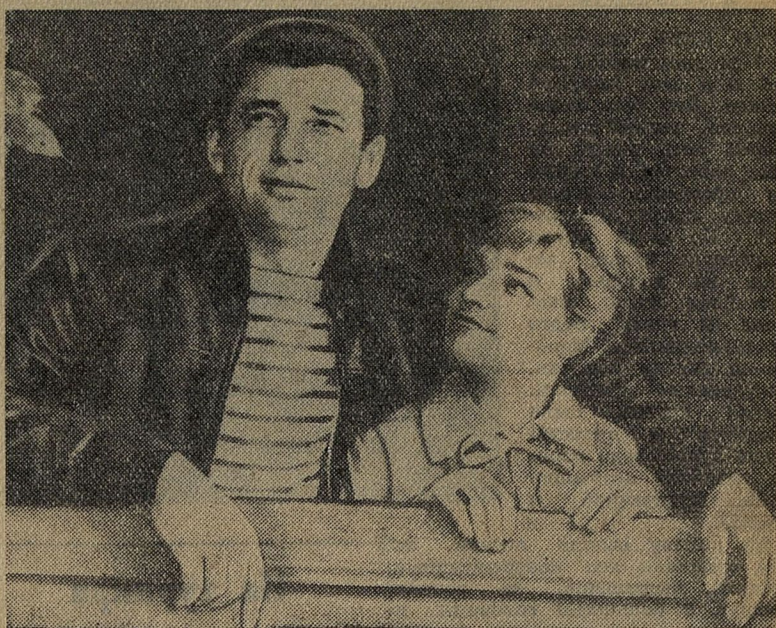


СОЛНЦЕМ ПОЛНА ГОЛОВА

ПОПУЛЯРНЫЙ французский артист Ив Монтан известен советскому зрителю и по многочисленным радиопередачам, в которых он выступает как исполнитель песен, и как киноактер. Журнал «Иностранная литература» публикует воспоминания Ив Монтана, в которых он рассказывает о своем трудном жизненном пути, о своем творчестве и устремлениях. В специальном обращении к советским читателям автор пишет: «В солнечных лучах песен я хочу воспеть труд и мужество честных людей нашей и других стран, их неиссякаемую любовь к Свободе, их стремление жить в добром согласии со всеми народами. Вот почему мне особенно приятно добавить к этой книге воспоминаний слова приветствия советскому читателю. Эта радость удваивается благодаря надежде приехать в ближайшее время в вашу страну и познакомиться с советской землей и советскими людьми».

Ниже публикуются отрывки (с некоторыми сокращениями) из воспоминаний Ив Монтана «Солнцем полна голова», которые будут помещены в июньском номере журнала «Иностранная литература».



ИВ МОНТАН со своей супругой актрисой СИМОНОЙ СИНЬОРЕ.

ОПЬАЕННЫЙ своими первыми успехами на сцене, я мало-помалу забросил ремесло парикмахера. Я оставил ножницы и гребенку и вступил на мнивший меня поприще певца, не слишком предаваясь размышлениям, не решив еще сделать из этого профессию, не заботясь о будущем и довольствуясь преображенным настоящим. Когда это настоящее обратилось в прах, а ремесло парикмахера между тем стало уже, как мне казалось, далеким, давно забытым прошлым, мне не осталось ничего иного, как приспособиться к требованиям момента, как бы ни были суровы эти требования. Я поступил подручным на «Средиземноморские верфи», где нужны были рабочие руки.

Я стал молотобойцем. У меня был здоровенный молот, круглолобый, с длинной рукояткой, я из всех сил бил по стальным листам. Эти удары составляли одну из операций, имевших своим назначением превратить в корабельные котлы тяжелые металлические пластины, подававшиеся лебедками или кранами.

Впервые в жизни я что-то строил. Укладывать локоны, причешивать, приводить в порядок шевелюру — значило лишь тешить кокетку, слегка и ненадолго украшать подчас пустую женщину. Это было забавой, несерьезным занятием. Теперь тяжелыми ударами молота я помогал производить могучие машины. Я испытывал от этого чувство гордости. Я понимал светлую радость созидания, знакомую всем трудящимся, радость каменщиков, землекопов, плотников, которая заставляет их торжествовать, когда работа завершена, радость, с которой водружают букет цветов на конек кровли отстроенного дома. Я чувствовал могучую силу солидарности, связывающей меня с товарищами по работе. Я больше не был одинок, я перестал замыкаясь в себе, метаться в каком-то тесном кругу вздорных надежд и гнетущих сомнений. Это было само братство.

Радость созидания и сознание братской связи со множеством мужественных и честных людей с избытком компенсировали в моих глазах суровые стороны профессии.

После событий, развернувшихся с молниеносной быстротой и получивших глубокое отражение, война разбухала и обернулась плохо для нас. Брат попал в плен и оказался в концентрационном лагере. С большими перерывами он присылал нам письма, в которых мы, читая между строк, чувствовали его спокойное мужество и непоколебимую уверенность в торжестве правого дела. На «Средиземноморских верфях» прошло сокращение: теперь уже не было насущной потребности в котлах. Я стал безработным. Чтобы получить жалкую подачку, мне приходилось часами простаивать в длинных очередях.

Я стал докером. Я работал не на разгрузке судов, а в бригаде, которая обслуживала машины, перевозившие грузы.

Буду ли я, возмужав, докером, надрывающимся на своей работе, или стану важным господином с сигарой в зубах, эти люди останутся для меня друзьями, и я не забуду, что я сам познал муравьиный труд докеров, их изумительную сплоченность и силу, которую они сознают и которая может быть употреблена не только на то, чтобы выгрузить кипы шерсти или уголь, или цемент, или бревна, или фрукты, но и на то, чтобы попригнать сигары в зубах у заводчиков, отправить назад неразгруженными суда, вошедшие в порт, наделать шуму и задать страху.

Я был докером всего несколько недель. Повестка, не допускающая никаких возражений и отговорок, сразу оборвала нить вновь приобретенных мною привычек: меня призвали в «Молодежные лагеря», то есть на своего рода военную службу, заменившую во время оккупации обычную допризывную подготовку.

Когда я вернулся из «Молодежных лагерей», меня взял на попечение серьезный импрессиарио Одиффред. Он заставил меня начать все сначала, с азав, и по его указанию я стал брать уроки у одной очаровательной и вполне компетентной старой деви.

Родители без одобрения отнеслись к тому, что я бесповоротно избрал столь рискованную профессию. Особенно мать считала,

что от этого не приходится ждать ничего хорошего. Основываясь на газетах и общей молве, обычно составляют себе дельное представление об артистах и относятся к ним со скрытым осуждением. Мать даже видела в моем выборе неосознанную тенденцию уклониться с прямого пути. Она уже представляла меня в тех сомнительных сферах, где достаточно сделать один ложный шаг, чтобы покатиться по наклонной плоскости. Отец как только мог успокаивал ее, восхваляя смелость, но и сам дрожал за меня при мысли о том, что я попаду в среду, к опасностям и ловушкам которой я был совершенно не подготовлен. Он не мог отделаться от мысли, что мое стремление стать профессиональным певцом — верный признак легкомыслия и политической несознательности. Его старший сын находился в лагере для военнопленных в Германии, а младший отрезался от своего класса; для ветерана рабочего движения это было несвоей старостью. Всецело поглощенный своими планами, я не подозревал об отцовских тревогах и не чувствовал себя отщепенцем: я уже ясно понимал, что можно стать артистом, не порывая со своими товарищами, что можно петь вместе с ними, для них и от их имени...

Я с крайним усердием принялся учиться этой профессии, о которой так мало знал. Я и сейчас удивляюсь этому — до тех пор ничто не позволяло предположить во мне не только педанта, но даже прилежного ученика. Я старался изо всех сил.

Еще когда я начал выступать, я брал уроки у одного учителя танцев, усача, преподававшего в царское время в России. Этот на редкость требовательный старик выработал у меня гибкость и научил меня тысяче различных способов двигаться на сцене. Тяжелая работа, которую я выполнял в течение дня, правда, развивала мускулы и не позволяла одрябнуть, но плохо отражалась на суставах. Балетмейстер помог беде, и сочленения у меня стали, как у ребенка. Скоро я превзошел в эластичности движений тех заносчивых и вспыльчивых гвардейских офицеров, которых когда-то готовили в Санкт-Петербурге.

Теперь я самостоятельно возобновил тренировку, и ко мне вернулась прежняя гибкость. Я занялся также сольфеджио и английским языком. Я пробовал подготовить оригинальный номер, разрабатывая эффектный выход, пытаясь создать своего рода сценические силуэты.

Когда Одиффред почувствовал, что я созрел, основательно «накачан» и полон решимости сделать все, на что я только способен, он «пустил меня в ход». Сначала я участвовал в постановке, где гвоздем программы было выступление Гины Кетти, а я оставался на втором плане. Потом я выступал в реву «Безумный вечер», которое проходило в очень быстром темпе и в котором мне уже принадлежала главная роль. Крикливые, бьющие на сенсацию афиши объявляли: «Ив Монтан, динамит на сцене».

С «Безумным вечером» мы ездили из города в город, и реву обило весь юг Франции. Оно имело шумный успех, который конкретизировался для меня в повышенных гонорарах и газетных статьях, подчас полных дифирамбов по моему адресу. Повидимому, публика меня приняла.

От меня не ускользало, что профессия певца не давала мне того непосредственного ощущения великолепной пролетарской солидарности, как на «Средиземноморских верфях» и в доках. Я уже не был среди товарищей. Правда, став зрителями, они, связанные между собой безмолвным договором, делающим зрительный зал единым целым, чувствовали меня в своей среде. Но на сцене я оставался один, и надо было, чтобы мне аплодировали от всего сердца, чтобы я снова почувствовал прочность той связи, которую называют общностью с публикой. В конце концов мой страх, быть может, был лишь безумной боязнью оказаться не в силах установить этот спасительный, этот бесценный контакт, тоскливой тревогой, которую не может не испытывать тот, кто должен один создать атмосферу взаимного понимания, горячей симпатии, душевного слияния. Я с некоторым сожалением вспоминал о том горячем воодушевлении, которое захватывает вас в толпе, шагающей к верной и давно поставленной цели. Я познал эту благодать на площади Канебьер среди бастовавших рабочих.

Речь шла о том, чтобы добиться выполнения наших законных требований, которые к тому же нам неоднократно обещали удовлетворить, но всякий раз откладывали на будущее. Мы решили направиться колонной к префектуре, чтобы подкрепить эти требования форсировать переговоры, которые

наши наниматели всячески старались завести в тупик. Я шел, затерявшись в общей массе, и у меня было легко и весело на душе.

Первый натиск полицейских был для всех неожиданным. Они появились с прилегающей улицы в касках, в полном снаряжении, размахивая своими винтовками, как дубинами.

Нападение ошеломило демонстрантов. На минуту наступило общее замешательство, но потом, должно быть, каждый почувствовал то же, что и я: стоп, страх прошел.

Твердое сознание правоты своего дела наполняет человека непоколебимой решимостью. Я почувствовал, что мои силы увеличились. Произошла перегруппировка, и полицейские отступили. Этот день врезался мне в память. Я, как сейчас, вижу адскую свистопляску распоясавшихся полицейских и наше неудержимое движение вперед, спокойное и прекрасное, как сила природы.

Отец был слишком стар, чтобы защищать права трудящихся в уличных схватках. Но и он боролся, как мог. Вместе с одним каменщиком итальянцем, по фамилии Лотти, в котором воплотились лучшие качества мелких ремесленников — честность и добросовестность, он печатал антифашистские листовки. Старик со всевозможными предосторожностями работал на примитивном печатном станке. Их движения при этом были исполнены важности, как жесты самого Гуттенберга, как жесты обычно изображают в день легендарного изобретения.

Война, все дальше простирая свою власть, лишь усугубила атмосферу конспирации, повседневной тревоги и скрытой борьбы. С тех пор, как оккупация распространилась на всю Францию, участились облавы. В одну из них попал и я. В течение шести дней меня держали на вокзале, чтобы затем отправить в Германию для отбытия трудовой повинности. Только благодаря безумно смелым и дерзким шагам, предпринятым сестрой, мне удалось выпутаться из этой истории. В другой раз меня чуть было не захватила полиция, наярнув с обыском, когда я преспокойно спал, но мама во время задержки занавеску, прикрывавшую дверь в мою комнату, так сказала меня этим простым, так сказать инстинктивным жестом.

Эти повторяющиеся случаи, когда я подвергался опасности, показались мне предостережением. Настало время исчезнуть. Париж, несомненно, был самым надежным убежищем, где легче всего скрываться, и меня там никто не знал. И потом, только там я мог проверить, означают ли мои успехи в качестве певца лишь преходящее увлечение темпераментных южан или нечто не столь эфемерное. Мне нужно было это знать, нужно было отдать себя на новый суд. Как это ни высокопарно звучит, мною руководило, меня влекло мое призвание...